

18+

Юрий
Буйда

Дар речи

Роман



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Юрий Васильевич Буйда

Дар речи

Серия «Новая русская классика»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69213103
Дар речи : роман / Юрий Буйда: АСТ; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-154056-2*

Аннотация

Юрий Буйда – автор романов «Пятое царство», «Вор, шпион и убийца» (премия «Большая книга»), «Прусская невеста» (шорт-лист премии «Русский Букер»), «Синяя кровь». Его книги выходят во Франции, Великобритании, Эстонии, Польше, Венгрии, Словакии, Норвегии и других странах.

Главный герой нового романа «Дар речи» Илья Б. Шрамм в 16 лет обретает отца, известного телеведущего, а также единокровного брата, любимую на всю жизнь женщину и Семью: старый московский клан советской аристократии. Здесь богемствующие журналисты, офицеры КГБ и красивые женщины ведут остроумные беседы, они ироничны и циничны, блестяще эрудированы и владеют несколькими языками, не боятся свободомыслия и фрондёрства. У каждого из них, помимо общих грехов, есть личный набор скелетов из прошлого, – и некоторые тайны ведут в тридцатые и даже дореволюционные годы...

Содержание

Правая жизнь	5
Нежные лица	16
Девушка из Нагасаки	29
Любовники из Будапешта	43
Ботинки для сумасшедшего	57
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Юрий Буйда

Дар речи

© Буйда Ю. В.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

*И попережку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.
Георгий Иванов*

*Бывают минуты в истории, когда неполнота
правды превращается в лжесвидетельство на суде.
Корней Чуковский*

Правая жизнь

2020

– Le presbytère n’a rien perdu de son charme, – сказала Шаша.

– Ni le jardin de son éclat, – ответил я.

«Дом священника всё так же очарователен, а сад всё так же свеж» – эта фраза служила чем-то вроде пароля в романе Гастона Леру «Тайна желтой комнаты».

Тридцать шесть лет назад мы договорились, что воспользуемся этим паролем, если одному из нас потребуется помощь в безвыходной ситуации.

За эти тридцать шесть лет и в ее, и в моей жизни случилось всякое, но ни она, ни я ни разу не прибегали к помощи мсье Леру.

– Ты где?

– У Дидима, – сказала Шаша. – На даче.

Очень хотелось спросить, что случилось, но я превозмог себя: наверняка разговор об этом занял бы слишком много времени, а мне не терпелось поскорее увидеть Шашу.

– Еду, – сказал я.

Она положила трубку.

Ночью я доехал бы до Новой Жизни максимум за час, но воскресным вечером тысячи машин возвращаются из торговых центров. Навигатор сообщил, что дорога займет у меня два часа двадцать минут.

Давно минули те времена, когда по МКАД можно было промчаться с ветерком: после десяти вечера на кольцевую выползают громадные фуры, которые везут в Москву мясо и соболя шубы, стальные трубы и бриллианты, леденцы и породистых лошадей, кирпич и пшеничную муку, компьютеры и коньяк. Фуры, тысячи фур с кубанскими, ростовскими, омскими, дагестанскими, польскими, немецкими, итальянскими, французскими номерами, груженные удовольствиями и развлечениями, преступлениями и наказаниями. Этот двадцатимиллионный город всё съест, переварит, рыгнет – и потребует еще, еще. Он никогда не спит, никогда не затихает, никогда не гаснет – на этот огонь летят тысячи самолетов со всего света, тысячи душ, тысячи огней, питающих великое московское пламя, пылающее на весь мир...

Миновав Рублевское шоссе, которое текло под мостом сплошной огненной рекой, я втиснулся в правый ряд и через несколько минут повернул направо, вниз, на проспект маршала Жукова, чтобы выехать на Новорижское шоссе. Не доезжая Истры, повернул на север и через полчаса остановился перед слагбаумом.

Дачный поселок Новая Жизнь делился дорогой на две части: Правую Жизнь – если ехать из Москвы – занимали дачи

профессоров, артистов, журналистов, которых жители Левой Жизни, обслуга этих дач, называли господами.

Дачный поселок стоял полупустым много лет; лишь изредка сюда наезжали покупатели, которые бродили по этим дворцам из красного кирпича, построенным в девяностых. Их владельцы давно переселились на тот свет – кто на кладбище, кто в Лондон, Тоскану или Флориду. Под давлением риелторов хозяева нехотя снижали цены с двадцати – тридцати миллионов долларов до пятнадцати, потом до пяти, но и это не помогало. Никого не привлекали все эти пошлые претензии на шик, все эти дорические колонны, бетонные львы у входа и флорентийские башенки.

Мир псевдо и квази, как русский капитализм.

Здания ветшали, причудливые бронзовые дверные ручки отваливались при малейшем прикосновении, в бассейнах селились лягушки, на балконах щегольских флигелей сторожа-таджики сушили свои халаты и трусы.

На въезде в поселок я нажал кнопку на брелоке – шлагбаум поднялся. Такие брелоки были у всех родственников и близких друзей Семьи.

Ворота усадьбы Шкуратовых были открыты.

Машина Дидима стояла вплотную к дому, свою я припарковал в углу, под каштаном, рядом с машиной Шаши и мемориальным джипом «Saab» – на таких в девяностых разъезжала продвинутая молодежь, презиравшая что пролетарские «шестерки», что бандитские «бумеры», что чиновничьи

«мерины».

Над крыльцом горела яркая лампа, забранная в сетку; светилось и одно из окон кухни; второй этаж был темен.

Я сел на скамейку под навесом, закурил.

За черными ветками деревьев горело окно соседнего дома – шиферная двускатная крыша, причудливые башенки по углам.

В этом доме жила престарелая цирковая актриса Юлия Минакова, гимнастка, выступавшая под псевдонимом Джульетта Минелли. Когда-то она была любовницей Шкуратова-старшего, а потом соблазнила и младшего.

Теперь она спала с мужчиной, годившимся ей во внуки. По вечерам они ужинают при свечах, потом пьют коньяк в эркере. После второй рюмки мужчина начинает ее раздевать. Она слабо сопротивляется и жеманным жалобным голосом просит погасить свечи. Но он неумолим и настойчив, а она бессильна перед его натиском. Отвернувшись, она закидывает голову, закрывает глаза и томно стонет, когда он опускается перед ней на колени, а потом кричит – кричит с удовольствием, во всё горло, до крови из носу.

Обо всём этом любовник подробно пишет в своем блоге, выкладывает фото и видео их забав. Администрация соцсети то и дело его банит, тысячи людей его презирают, но это только прибавляет ему популярности. У него почти миллион подписчиков, за размещение рекламы в своем блоге он берет несусветные деньги.

Актриса, которая до сих пор пользуется только стационарным дисковым телефоном, ничего об этом не знает. Она обожает своего любовника, хотя часто говорит ему, что он – лжец: «Впрочем, наша ложь говорит о нас больше, чем что бы то ни было. Твоя ложь – это ты *wie er ist*¹, и я это принимаю с любовью».

Об этом он тоже пишет.

Что произойдет, если она узнает о его блоге?

– Привет.

Я погасил окурок в ржавой пепельнице, поднял голову – на крыльце стояла Шаша.

– Что случилось? Ты одна? А что Грушенька?

Грушенька была помощницей по хозяйству – так официально называлась ее должность.

Словно не расслышав моих вопросов, она поцеловала меня, дрожа то ли от холода, то ли от нетерпения, то ли от страха.

– Как ты? – Я посмотрел на ее живот. – Нормально?

Она улыбнулась.

В просторной прихожей на тумбочке под зеркалом стояла глубокая чаша, наполненная фасолью. Все знали, где искать пропавшие вдруг ключи от машины или монетки, а однажды я извлек из фасоли мраморный мизинец, который подарил Шаше влюбившийся в нее немецкий археолог.

– Сюда, – сказала она, толкая дверь, ведущую в подвал.

¹ Такой, какой ты есть. (нем.)

Подвал был огромным – здесь была устроена сауна, которой никто никогда не пользовался, бильярдная с баром, боксы для продуктов, большой холодильник и две морозильные камеры, забитые мясом и рыбой.

Миновав холодильники, мы оказались в пустом помещении, где было холодно, чисто и светло. Под потолком горел квадратный плафон, под ним на узком столе покоилось маленькое тело, укрытое грязной простыней.

– Господи, Шаша...

– Это не Дидим, – сказала она, сдергивая с тела простыню, – это она... костыль в машине...

– Какой костыль?

– Она инвалидка... что-то с ногой... был снегопад, мы сбили ее, привезли сюда, она уже не дышала, но потом он выстрелил в нее... два раза...

– Дидим?

Она кивнула.

– Зачем? Стрелять – зачем? Он был пьян?

– Который день напивается до стерильного состояния.

– Он хоть задумался о последствиях?

– Предложил избавиться от тела.

– Но он – в стороне?

Шаша пожала плечами.

– Допустим, он найдет человека, который согласится закопать тело. Но ведь ясно же, что этот человек должен быть в доску своим, тем, кто не станет шантажировать...

– Брат, – тихо сказала Шаша.

– Из его братьев только один в состоянии спрятать тело...

– И это не ты.

– Не я.

– Пойдем отсюда, замерзла как цуцик.

– Какая здесь температура? В моргах тела хранятся при температуре ниже десяти градусов...

– Поставила термостат на минус два.

– Пойдем.

Мы поднялись наверх.

Комната на втором этаже, выходившая окнами в сад, называлась материнской, но Евгения Лазаревна, мать Дидима, никогда не ночевала на даче: «Лучше мне не видеть того, на что я не смогу закрывать глаза».

Шаша с легким сердцем занимала материнскую, когда сюда приезжала, но, покидая дачу даже на день-два, забирала всё, что привозила с собой, – книги, белье, косметику, потом мыла полы, оконные рамы, ванную, чтобы не оставлять никаких следов. В этой комнате Шаша спала в ночной рубашке до пят, а не голой, как обычно, а еще никогда не занималась здесь сексом – и Дидиму пришлось с этим смириться. «А отпечатки своих пальцев ты тоже стираешь?» – спрашивал он. Шаша игнорировала его иронию. В этой безликой комнате она не принадлежала Дидиму.

– Так что произошло, Шаша?

Шаша села в маленькое кресло и стала рассказывать; голос ее звучал глухо.

Она не сказала ни слова, когда Дидим поднял ее среди ночи, чтобы съездить за выпивкой в круглосуточный супермаркет. Промолчала, когда перед выездом со стоянки супермаркета он глотнул из горлышка. Когда на повороте смутная фигурка возникла перед капотом, и Дидим попытался остановить двухтонную машину, которая проползла метров десять и встала, – Шаша лишь откинулась на спинку сиденья и замерла, глядя на струи желтого мокрого снега, сползавшие по лобовому стеклу. Дидим шепотом чертыхался, глядя на камеру дорожного наблюдения, которая висела на столбе под фонарем метрах в тридцати – сорока от машины. Шаша хотела сказать, что камеры здесь давно отключены, но промолчала. Прежде чем выйти из машины, он надел перчатки. Обошел машину спереди, пытаясь разглядеть следы на решетке радиатора и бампере, но ничего не обнаружил. По обочине, отводя левой рукой ветки кустов, дошел до тела – семнадцать шагов – и опустился на корточки. Это была девочка лет тринадцати-четырнадцати, одетая в куртку с капюшоном, рваные джинсы и ботинки на толстой подошве. Она лежала на боку, уткнувшись лицом в снег. Худенькая, невысокая, крашенные волосы с темными корнями. Он снял перчатку, взял ее руку, сжал – никакого отклика. Неподалеку на обочине валялась какая-то палка. Это был костыль. Они вернулись к машине, открыли багажник, сдвинули пакеты с продуктами

вправо, вернулись к девочке, которая по-прежнему не подавала признаков жизни. Снегопад усиливался. Дидим вдруг передумал. Он поднял тело, шагнул к деревьям, оступился, съехал на заднице в канаву, с трудом встал, прижимая девочку к груди, и двинулся в глубину леса. Шаша шла сзади, ступая след в след. Шагов через пятьдесят он остановился, огляделся, опустил тело на снег, схватил девочку за руки и втащил в яму, оставленную вывороченной с корнем сосной. Они быстро закидали тело палой листвой и снегом и вернулись к машине. Запустив двигатель, Дидим вдруг вспомнил о костыле. Шаша сбегала за костылем, засунула его в багажник. Дидим достал из сумки початую бутылку, сделал глоток. Вдруг, не сказав ни слова, выпрыгнул из машины, сделал семнадцать шагов, повернул в лес, через пятьдесят шагов встал на колени – снег они разгребали в четыре руки, – поднял девочку, облепленную палой листвой, и зашагал к дороге. Тело уместилось на заднем сиденье, но на всякий случай он согнул ноги девочки в коленях, чтобы не прищемить дверью. Через десять минут они были в Правой Жизни. Во дворе Дидим развернулся, чтобы подъехать к дому вплотную боком, вытащил из машины тело, облепленное листьями, и они отнесли его в подвал. Шаша проверила пульс. Похоже, девочка была мертва. Дидим спросил: «Ну что?» Шаша пожала плечами, а он вдруг вытащил из кармана пистолет и дважды выстрелил в девочку. Тело ее содрогнулось и замерло. Заперев подвал, они поднялись в прихожую, Дидим бро-

сил ключ в миску с фасолью и отчетливо проговорил: «Фасоль». Занесли в кухню пакеты с продуктами, Дидим открыл бутылку и с жадностью глотнул. Шаша спросила: «Зачем?» Он не ответил. Взял бутылку и направился к лестнице. Шаша повторила вопрос. «Фасоль, – нараспев проговорил Дидим, поднимаясь по лестнице. – Фа-соль...»

– Вот такая фасоль, – сказала Шаша. – После этого он замолчал, и молчит уже третий день, а я вспомнила le presbytère...

– А ты считала шаги... значит, эта девочка там...

– Третий день там. Мозг умирает за десять минут. Будь в подвале теплее, на теле через час проступили бы трупные пятна. А потом глаза выпучиваются, язык разбухает и вылезает изо рта, кожа становится сначала зеленоватой, потом лиловой, наконец – черной...

– Шаша!

Она мотнула головой.

– Камеры на дороге действительно выключены?

– Муляжи. Одна была действующая, но в позапрошлом году ее отключили. Дорога-то не главная.

– А документы? При ней были какие-нибудь документы?

– Две мятые сторублевки, больше ничего.

– Плохо, что он был пьян, еще хуже – что продолжает пить. В общем, на первый взгляд – два-три года тюрьмы при хорошем адвокате, возможно досрочное освобождение... плюс надругательство над телом умершей – это денеж-

ный штраф по статье 244 УК... лицензия на пистолет, надеюсь, у него есть... не знаю, сумеет ли экспертиза установить, в мертвое тело он стрелял или в живое... если в живое, тогда дело усложняется...

– Почему он выстрелил?

– Чтобы не мучиться. Чтобы не думать, жива она или нет. Мертва – и точка. Он же никогда не любил слова «почти», и мы знаем, что душа его всегда была ниже его ума...

– Сколько весит пуля «беретты»? Шесть, семь граммов? Двенадцать граммов – и всё, не мучиться, не думать... точка, две точки...

Голос ее звучал всё тише – силы оставляли ее.

– Тебе надо поспать...

Я перенес Шашу на кровать, раздел ее, укрыл одеялом, выключил свет, лег рядом, как тридцать шесть лет назад, – лег рядом, взял ее левую руку, коснулся губами обожженной глянцевой кожи, и Шаша обняла меня правой, мне было шестнадцать, ей – пятнадцать...

Нежные лица

1984

25 декабря 1983 года мне исполнилось шестнадцать.

Мне подарили часы, авторучку и отца.

Часы были швейцарскими, но выпускались под именем русского купца Павла Буре. На серебряной крышечке были выгравированы скрещенные ружья и надпись «За отличную стрельбу». Этими часами в 1911 году был награжден мой прадед Иван Шрамм, зауряд-прапорщик 8-го гренадерского Московского Великого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца IV полка, в Красной армии дослужившийся до командира бригады.

Кроме того, бабушка вручила мне китайскую ручку вишневого цвета с золотым пером, которое было украшено иероглифом.

Набрав в ручку чернил, я расписался на чистом листе бумаги – Илья Б. Шрамм. Подпись вышла незамысловатой, без шика и размаха: имя и фамилия слились в ряду островерхих букв, наклоненных вправо.

Бабушка кивнула.

Такой моя подпись остается и сегодня.

В тот день я впервые в жизни надел костюм-тройку – в жилетном кармане нашлось место для часов. Авторучку я убрал в нагрудный карман пиджака.

– Пора пить чай, – сказала бабушка.

Мать включила телевизор.

Бабушка принесла торт, разлила чай по праздничным чашкам.

– Сегодня, – сказала мать, – я готова рассказать о твоём отце.

Она пыталась скрыть волнение, но удавалось ей это плохо.

– Может, выключить телевизор? – предложил я.

– Не надо.

Было воскресенье, ровно в 18:00 начиналась передача «Международная панорама», пользовавшаяся тогда огромной популярностью.

После заставки на экране появился высокий мужчина в модных очках, с седыми висками и бровями. Надпись внизу сообщала, что передачу ведёт обозреватель Борис Шкуратов. Он подался вперед, поправил очки, улыбнулся и поздоровался со зрителями, и тут мать сказала:

– Это твой отец.

Я замер.

– Борис Виссарионович Шкуратов – твой отец, – сказала мать. – Ты слышишь меня?

– Слышу, – сказал я, не отрывая взгляда от экрана.

– Он пригласил нас в гости, они празднуют Рождество по

православному календарю, – сказала мать. – Поедем?

Я пожал плечами.

Бабушка вздохнула с облегчением.

Одним из первых декретов большевики уравнивали в правах внебрачных детей и тех, что были рождены в браке, и вскоре слово «незаконнорожденный» опустилось на дно русского словаря, смешавшись с окаменелостями вроде «лядвий», «схиигумена» или «мидинетки».

Мое детство прошло на Благущее, где в общежитиях и съемных комнатах жили тысячи женщин, которые пришли на московские фабрики из деревень и нарожали детей от случайных мужчин. Из двадцати восьми учеников нашего класса семнадцать не знали своих отцов. Не помню, чтобы кто-то из них сильно переживал по этому поводу. В этом смысле мало что изменилось, когда мы переехали на Якиманку.

В нашей семье не было принято говорить о моем отце, да, честно говоря, я о нем до поры до времени и не задумывался, вполне довольствуясь тем, что было. А была у меня мать – красавица и умница, кандидат медицинских наук, занимавшаяся сексопатологией; была бабушка – веселая и язвительная гинекологиня, которая после смерти мужа меняла любовников одного за другим, приговаривая перед зеркалом, когда оставалась одна: «А ничего еще сучешенька, съедобна»; еще у меня были друзья и Моника Каплан, которую я хоть и не познал, боясь переступить через ее «не сейчас»,

но почти каждый день видел совершенно голой; наконец, у меня была тьма книг – от приключенческих романов до научных трудов о сексуальных девиациях...

Книги-то и помогли мне со временем понять, что у матери есть любовник, причем из года в год – один и тот же.

Бабушка наконец нашла *своего* мужчину и вышла замуж. Николай Генрихович служил в каком-то секретном заведении, был славным человеком, любил рыбалку, свою дачу, свой «жигуленок» и свою Анну, то есть мою бабушку. По выходным я гостил у них на даче, стоявшей на берегу Пахры, а летом и вовсе поселялся там.

Однажды, вернувшись после долгой отлучки на Якиманку, я взялся перебирать книги и вдруг наткнулся на новинку – это был «Journal de Voleur»² некоего Jean Genet, а рядом стоял толстый том под названием «Saint Genet, comédien et martyr»³, написанный каким-то Jean-Paul Sartre. Мать владела французским, я, разумеется, нет – в школе мы изучали английский и пытались читать «Принца и нищего» в оригинале.

Но больше всего меня поразила дарственная надпись на книге Жене: «Do ut des⁴, милая Лизанька, ангел и цыпленочек. Твой Бобоша». Эта надпись странным образом и тро-

² Жан Жене, «Дневник вора» (1949).

³ «Святой Жене. Комедиант и мученик» (1952) – книга французского философа Жан-Поля Сартра о писателе Жане Жене и о его романе «Дневник вора».

⁴ Даю, чтобы ты дал. (*лат.*)

нула меня, и покоробила: взрослые люди как будто играли, используя сентиментальный словарь времен Карамзина, Жуковского и Достоевского. Так и видишь какого-нибудь старичка-помещика, глядящего по головке свою Лизаньку, которая обожает своего Бобошу. Похоже, пошлость сторожит все подступы к настоящим чувствам.

Новые книги на французском и английском (которым мать тоже владела свободно) появлялись в наших шкафах всякий раз, когда я долго отсутствовал, и каждая книга предварялась посвящением Лизаньке, Лизе, Лизавете, Лизетте или Елизавете Андреевне, «ангелу и цыпленочку», подписанным интимным псевдонимом Бобоша.

Можно было предположить, что этот Бобоша и был моим отцом, а можно было не предполагать – и я не предполагал.

Вечером 6 января 1984 года к нашему дому на Якиманке подъехала черная «Волга» с черными номерами «МОС», при виде которых милиционеры в те времена брали под козырек.

Шофер предупредительно открыл дверцу перед моей матерью – рослой красавицей в короткой шубке и туфлях на шпильках, одуряюще пахнущей «Лориганом», а я забрался в машину с другой стороны, втянув за собой запах коричневого обувного крема «Люкс».

Машин на улицах было немного, поэтому мы быстро домчались до площади Восстания, откуда по Краснопреснен-

скому проспекту выехали на старую Волоколамскую дорогу, пролегающую через Красногорск и Дедовск. Не доезжая Истры, свернули на север и через полчаса въехали в Правую Жизнь.

Дом Шкуратовых не выделялся из ряда деревянных двухэтажных домиков, в которых, как сказала мать, жили «разные известные люди».

На крыльце нас встретил молодой худощавый мужчина в джинсах, замшевом пиджаке и белой рубашке без галстука. Он подал Елизавете Андреевне руку, помогая взойти по ступенькам, проводил ее задницу восхищенным взглядом и протянул руку мне.

– Здравствуй, брат мой Авель, – сказал он. – Свои зовут меня Дидимом. Дидим – это близнец. Так говорили об апостоле Фоме, у которого был брат-близнец. Фома Дидим, он же Фома Неверующий. Кажется, мы и впрямь похожи.

Рассмеялся, хлопнул меня по плечу и легонько подтолкнул к прихожей.

И я вошел в дом, который изменил мою жизнь.

В девяностых его перестроили, а фактически возвели на старом месте новый – с огромным подвалом, просторной гостиной, уютной библиотекой, гостевыми спальнями, газовым отоплением. Если что и напоминало о его прошлом, так это фотографии на стенах, часы с боем да чаша с фасолью в прихожей.

Впрочем, гостиная и в те годы была достаточно простор-

ной, чтобы в ней с удобством разместилась большая компания, собиравшаяся здесь обычно на Рождество.

На пороге гостиной я было замешкался, но Дидим под локоть ввел меня в комнату.

– Наш новообретенный брат Илья, – объявил он, – прошу любить и жаловать. И его прекрасная мать Елизавета!

Мать была смущена, но поправила Дидима:

– Елизавета Андреевна, если не возражаете. Шрамм. С двумя «эм».

– А это наш патриарх Борис Виссарионыч! – Дидим с полупоклоном представил отца. – Шкуратов, а для своих – Папа Шкура, если не возражаете.

Папа Шкура, сидевший во главе стола, захохотал и ударил в ладоши, остальные подхватили аплодисменты – даже бледноватая сухопарая женщина с красиво уложенными волосами свела и развела ладони. Как вскоре выяснилось, это была Евгения Лазаревна, первая жена Шкуратова-старшего, мать Дидима.

По левую руку от Папы Шкуры сидела его мать – Маргарита Светлова, Марго, одетая в лиловое и серое, в шляпке-таблетке набекрень и с папиросой в пятнистой руке.

– Главное ее сокровище – ночной горшок с портретом Наполеона на дне, – громким шепотом сообщил мне Дидим, навалившись грудью на стол. – Столп, ограда и эффигия нашей семьи. Обожаю ее бешено.

Мы сели сбоку, напротив Дидима и его младшей сестры

Алены, ослепительно красивой девушки с огромными раскосыми глазами. Она с улыбкой помахала нам рукой, а потом еще послала мне воздушный поцелуй.

Рядом с Дидимом, развалиясь на стуле, как в кресле, и высоко задрав колена, сидел Конрад Арто – с выбритыми висками, в черном галифе и высоких сапогах, в черном френче и черной рубашке, застегнутой под острым кадыком, – он откликался на прозвище Штандартенциркуль.

Вся в черном, но празднично черном с серебряной вышивкой, была жена Дидима – имени ее не помню, больше я ее не видел, но между собой ее называли Княжной: она и впрямь принадлежала к какому-то грузинскому старинному княжескому роду.

Ее опекал Минц-Минковский – круглолицый пузатенький очкарик с трубкой в зубах, в сером костюме-тройке от лучшего портного Большого театра, он весь вечер ухаживал за Княжной, демонстративно комкавшей в руках платок. Все называли Минц-Минковского только по фамилии, имени его я так и не узнал.

Мужчина, занимавший место по правую руку от Шкуратова-старшего, чувствовал себя, похоже, не в своей тарелке. Справа на его офицерском мундире с погонями майора красовался ромбик какого-то военного училища, а слева – звезда Героя Советского Союза. Коротко стриженный, с костистым лицом, широкоплечий и длиннорукий, он смотрел прямо перед собой невидящими глазами.

А вот его сосед Роберт Скуратов чувствовал себя здесь как дома. Невысокий, плотный, без пиджака, но в жилете и с галстуком-бабочкой, он с улыбочкой курил сигару, высоко поднимая локоть, чтобы все могли разглядеть «Swatch» на его правом запястье, и лишь изредка на его холеном лице появлялось выражение, какое, наверное, бывает у дирижера, услышавшего фальшивую ноту. Его называли Бобом, а если хотели позлить-подразнить – Бобинькой.

Даже сейчас, когда я пытаюсь описать людей, собравшихся тем вечером в доме Шкуратовых, я медлю в нерешительности, потому что до сих пор не понимаю, как описать Шашу.

Она сидела справа от Дидима, но была сама по себе. Смотрела на меня с полуулыбкой, чуть приоткрыв рот, как красавицы Амарны, но взгляд ее был как будто усталым. За годы нашего знакомства я так привык к ее красоте, что уже почти и не замечаю ее. Привык и к ее покалеченной левой руке, которую в тот вечер она прятала от чужих глаз. Привычка не только спасает нас от бессмысленности жизни, но и хранит наши чувства. Наверное, так чувствует себя старик-смотритель Лувра, каждый день проходящий мимо «Джоконды», или афинский вор, промышляющий в толпе у подножия Парфенона. Плавно змеящиеся черты придавали ее образу завершенность, какая свойственна только умирающим и великим произведениям античности. У пятнадцатилетней девочки были взгляд и повадки искушенной женщи-

ны.

Когда Дидим макнул указательный палец в красное вино и попытался смочить ее губы, она взяла его палец в рот с таким видимым наслаждением, что у меня похолодел лоб. Но после этого она снова взглянула на меня и, кажется, чуть-чуть наклонила голову, и это движение осталось в моей памяти навсегда, превратившись в *неоскорбляемую часть моей души*.

Внезапно я понял, что объединяет всех собравшихся за столом: нежные лица. И ни возраст, ни пол, ни мужественность или женственность тут не имели никакого значения. У них у всех были нежные лица, словно никакая мировая грязь никогда не касалась их и никогда не коснется. Они были бы превыше любой грязи, даже если бы состояли только из грязи. И это странное чувство не оставляет меня всю жизнь.

– Итак, – громким внушительным голосом произнес Шкуратов-старший, – с Рождеством!

Бобинька вдруг вскочил с бокалом в руке и заговорил нараспев:

– Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланяться, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе!

В тон ему ответил Минц-Минковский:

– Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят,

волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися От-
роча младо, Превечный Бог!

– Ура, – сказал Дидим без улыбки и чокнулся с Шашей. –
За победу сил добра над силами разума.

– Наш Виссарион, – сказал Папа Шкура, обращаясь к Ели-
завете Андреевне, – давний сторонник победы цивилизации
над культурой, то есть Запада над Востоком, свободы над
Россией...

Так я узнал имя новообретенного брата: Виссарион.

– Предпочел бы решать проблемы, а не разгадывать тай-
ны, – ответил Дидим.

– Умеют же журналисты продемонстрировать, – ленивым
тоном проговорил Конрад, – как письменность ослабляет си-
лу речи.

– А вы знаете, – сказала Шаша, вертя в руках кусок хле-
ба, – когда моя бабушка видит в хлебе дырки, то крестится
и говорит, что в них Христос ночевал...

Оказывается, она владела искусством подворовывания,
как говорят актеры: второстепенный персонаж не может во-
рвать у главного внимание зрителей – только подворовы-
вать, играть в его тени, лишь изредка выходя на свет.

Все с облегчением рассмеялись, выпили и потянулись к
закускам.

Княжна уронила вилку, нагнулась, но ее опередила мо-
лодая большеглазая женщина в облегающем платье, подхва-
тившая вилку с пола.

– Вилка упала – это женщина придет, – объявила она, – а нож – мужчина. Не пора ли подавать горячее?

Через несколько минут большеглазая – ее называли Глазуньей, – красиво выгибая стан, торжественно внесла поднос с гусятницей. Проходя мимо Шкуратова-старшего, она легонько коснулась его плеча.

Евгения Лазаревна вспыхнула, попыталась взглядом призвать Глазунью к порядку, но та ответила презрительной ухмылкой, после чего экс-жена уставилась на мою мать, которая на мгновенье нахмурилась, соображая, что к чему, и вдруг покраснела. Она, возможно, и раньше догадывалась о любвеобильности Папы Шкуры, но теперь своими глазами увидела не только бывшую жену, но и еще одну любовницу, которая явно не собиралась уступать сопернице.

Этот стремительный обмен взглядами поразил меня не меньше, чем палец Дидима, который Шаша взяла в рот.

Шкуратов-старший постучал вилкой по стеклу, встал и заговорил:

– Поэт назвал Христа словом в слове. Понятно, что речь идет о том самом слове, которое останавливает битвы и наполняет сердца любовью. В память об этом слове всемогущий Господь даровал людям речь, чтобы они всю жизнь стремились выразить нечто такое, что их объединяло бы, вело к мечте, к идеалу. Дар вещего слова дан немногим. И мы принадлежим к этим немногим. Нет, мы не владем самим драгоценным даром, но мы неустанно служим у алтаря, где

он может родиться. С Рождеством Христовым, мои дорогие!

Все встали и выпили, но я слышал, как Дидим сказал себе под нос: «Вот бя...»

Девушка из Нагасаки

1984

– Ну что ж, – сказал Дидим, когда мы вышли во двор покурить, – ты избрал верную тактику: молчал, приценивался, взвешивал, а заодно влюбился в парочку красавиц...

– Ну уж, – возразил я, – у меня своих достаточно...

– Охотно верю! Но годятся ли они в подметки нашим?

Я хмыкнул.

Во дворе мы были вдвоем. Папа Шкура и Елизавета Андреевна уединились в кабинете, прихватив с собой бутылку виски, майор, так ни разу за вечер и не открывший рта, неловко откланялся, Евгения Лазаревна уехала на черной «Волге», Марго отвели во флигель – она рано легла спать, Глазунья на пару с миловидной толстушкой Шуреттой, призванной в помощь излевой Жизни, убирала грязную посуду, остальные спустились в подвал, где предполагалось продолжение вечеринки.

– Не знаю, готов ли ты к встрече с отцом, – начал Дидим, – но не отвергай его с порога. Он, конечно, тот еще фрукт. Левые бабы, левые дети, снова бабы... а если начинает Ленина цитировать к месту и не к месту, так хоть святых выноси.

«В трудные минуты я снимаю с полки любимый том Ленина...» – Дидим поморщился. – Добрый, умный, классный, но все его убеждения можно описать одной фразой: что-то должно измениться, чтобы всё оставалось по-прежнему. А еще любит цитировать Ратенау: «Если эпоха, в которую мы живем, сурова, мы тем более должны ее любить, пронизывать ее своей любовью до тех пор, пока не сдвинется тяжелая масса материи, скрывающей существующий с ее обратной стороны свет». Это, конечно, мысли неглупого человека об исторической природе власти и общества в Европе, но для Папы Шкуры – это оправдание существующего порядка вещей. Как видишь, в этом смысле он – типичный представитель дикого племени советской интеллигенции...

– А ты?

– Ага, – сказал Дидим, – зубы у тебя есть. А я... когда умер Брежнев, я бросал курить. Вот со дня на день отдаст концы Андропов – снова попытаюсь бросить. На смену ему придет очередной персонаж из очереди в морг, и снова буду бросать... так вся жизнь и пройдет, превратится в прах при трении о другие бессмысленные жизни... – Он вдруг подался ко мне. – А я хочу игры! Настоящей, без дураков. Не этой свирепой и безмозглой серьезности, а – игры! И чтобы результат игры зависел только от меня, а не от куклы, гниющей в Мавзолее! Я молод, умен, владею даром речи, любим, здоров, дерзок, как сатана, предусмотрителен, как ангел, я хочу игры, полета... не жвачки, «мальборо», «ливайса» и «роллс-

ройса» – на это плевать, оно само придет, мой выигрыш – дело... – Он говорил почти бесстрастно, лишь иногда поигрывая интонацией. – Андропов растормошил народ, надежды какие-то появились, разговоры пошли, – но, думаю, ничего не будет. Здесь – нет. Здесь даже неандертальцы не жили, потому что жизнь здесь – невозможна...

Он вдруг легко рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

– Ну и хватит для первого раза! Спустимся в наш любимый ад?

– Ад?

– В подвал. Девочки обещали сюрприз...

– А кто этот мужик со звездой Героя? Майор этот – кто он?

– Наш с тобой брат. Сегодня у нас братская ассамблея, как ты уже, наверное, догадался. Он – вояка, зовут Юрием Григорьевичем или просто – Юг, а фамилия, представь себе, – Сава, просто – Сава с ударением на последнем слог. Comment ça va? Ça va.⁵ – Заметив, что я не понимаю, о чем он, Дидим махнул рукой. – «Героя» отхватил в Афгане за какой-то подвиг, отец рассказывал, но я не запомнил. Герои – не мои герои. Да, на всякий случай ты должен знать, что Бобинька служит в Конторе. Он с нами – но не наш, у него другая ностратическая семья.

– В Конторе – это в смысле...

– В том самом смысле, – оборвал меня Дидим. – Пойдем?

⁵ Как дела? Хорошо. (*фр.*)

И мы вернулись в дом.

Праздничный стол Шкуратовых поразил меня не едой, а напитками. Армянский коньяк соседствовал с французским, грузинское вино – с итальянским, водка – с виски. И пили здесь – неторопливо, без того азарта, который был присущ мужчинам из моего благушинского детства, предпочитавшим либо водку, либо бормотуху.

В среде красной аристократии встречались пьяницы, но это были скорее исключения. За весь вечер Папа Шкура выпил две рюмки коньяка, а его бывшая жена – полбокала красного вина. То есть вели они себя как герои иностранных фильмов.

Мать поначалу украдкой поглядывала на мой бокал, но вскоре успокоилась. Сама она лишь подносила рюмку к губам, а залпом выпила ее содержимое только после того, как поняла, что у ее любимого не счесть любимых.

Подвал был украшен новогодними мерцающими гирляндами, а столик в углу уставлен бутылками от края до края. Играла музыка.

Минц-Минковский и Конрад Арто со стаканами в руках болтали с Княжной, надевшей мини-юбку и туфли на высоченных каблуках. Кажется, она была пьяна. На стуле в углу Скуратов курил сигару, закинув ноги на барабанную установку.

– О чем судачите, господа? – спросил Дидим, проходя ми-

мо жены, как будто ее тут и не было. – О судьбах многострадальной? И каков итог?

– Карамзин, – сказал Минц-Минковский.

– Шлёцер, – сказал Конрад.

Дидим налил себе виски, я последовал его примеру, мы выпили – я залпом.

– Иногда мне кажется, что мы живем в анекдоте о людях, которые годами рассказывают друг другу одни и те же анекдоты, поэтому, чтобы не утруждаться, пронумеровали их. Тридцать – и все смеются, одиннадцать – хохочут, семьдесят девять – всеобщее смущение: здесь же женщины и дети! Вот так и мы. – Он кивнул на друзей. – Минц вспоминал Карамзина: «История злопамятнее народа», Конрад – Шлёцера: «Лучше не знать, чем быть обманутым», а по мне, так оба описывают одно и то же – нашу злосчастную интеллигенцию...

– А ты?

– Папа Шкура сказал бы, что нас порождает любовь, но растят смертные грехи, а я – я о своем. Михайловский, говорю я. То есть: «Мы должны делать только то, что нам позволяют делать, потому что если мы позволим себе делать то, чего нам не позволяют, то нам ничего не позволят делать. Таково положение вещей».

– Я уже понял, что такое положение вещей тебя не устраивает...

– На самом деле оно никого не устраивает – ни власть, ни

подвластных. И нет ничего пошлее конфликта отцов и детей – это обо мне, брат Илья, и уж только потом о нашем отце. А вот и сюрприз! – завершил он, не повышая голоса.

В подвал спускались Алена, Шаша и толстушка Шуретта – они оборвали фикус, стоявший в гостиной, и разъяли старый веер, чтобы прикрыть кое-где наготу и украсить прически.

Под аплодисменты, крики и свист они вышли на середину комнаты, Скуратов выбил дробь на барабанах, Шуретта выступила вперед и хриловатым надрывным голосом певицы из кафе-шантана запела «Девушку из Нагасаки»:

Он капитан, и родина его – Марсель.
Он обожает споры, шумы, драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки...

Княжна стала стягивать с себя юбку, чтобы присоединиться к трио, но Конрад крепко обнял ее, а Минц-Минковский поднес ей очередной бокал.

Следующий куплет девушки пели втроем:

У ней следы проказы на руках,
У ней татуированные знаки,
И вечерами джигу в кабаках
Танцует девушка из Нагасаки...

Последние куплеты были исполнены всем подвалом:

Вернулся капитан издалека,
И он узнал, что джентльмен во фраке,
Однажды накурившись гашиша,
Зарезал девушку из Нагасаки.
У ней такая маленькая грудь,
И губы, губы алые как маки.
Уходит капитан в далекий путь,
Не видеv девушки из Нагасаки!..

– Ура! – закричал Конрад, широко раскинув руки.
Княжна упала на Минца-Минковского.
Погас свет.

– Это трансформатор, – сказал Скуратов. – Значит, света нет во всём поселке. Пошли отсюда.

Дидим щелкнул зажигалкой и двинулся вверх по лестнице, остальные потянулись за ним.

Одна из голых девушек взяла меня за руку, но в темноте я не мог разглядеть лица. Она потянула меня за собой, когда мы оказались в прихожей, потом мы поднялись на второй этаж, вошли в какую-то комнату, и только тут она подала голос:

– Обними меня, Шрамм.

Мое утро можно описать тремя словами: я был счастлив. Я был переполнен ощущениями физического и душевного счастья и едва скрывал это, даже когда узнал о смерти тол-

штушки Шуретты.

Ее тело нашли в заснеженном лесу. Голая, изнасилованная, задушенная, полузасыпанная снегом и старой листвой (видимо, ее пытались закопать).

Ее мать сказала, что дочь гостила у Шкуратовых, и через полчаса милиционеры постучали в ворота дачи.

Алена принесла вещи Шуретты, оставшиеся в ее комнате, когда они, Шуретта, Алена и Шаша, переодевались перед представлением в подвале.

– Значит, – сказал майор, – во рту у нее были трусы. А лифчик где? С такой грудью должен быть лифчик.

Но лифчика не нашли.

Милиция пыталась установить, кто где находился во время убийства.

Выяснилось, что Папа Шкура провел ночь с Елизаветой Андреевной Шрамм, Дидим – в гостиной на диване, Алена и Шаша – в спальне Алены, Конрад Арто, Скуратов и Минц-Минковский ночью по просьбе Дидима отвезли его жену в Москву, шофер черной «Волги» этот факт подтвердил. Глазунья была дома, влевой Жизни.

– А вы? – спросил меня майор.

– В комнате наверху, – сказал я.

– Мы называем ее материнской, – пояснила Алена. – Это комната моей мамы.

Врали все, кроме Папы Шкуры и моей матери.

В материнской я был не один – с Шашей. Алена спала с

Бобинькой. Конрад и Минц-Минковский делили комнату с пьянущей Княжной, чтобы у Дидима появился весомый аргумент для развода – супружеская измена (позднее я узнал, что Княжна была сестрой – или любовницей – одного из грузинских «золотых мальчиков», которые в ноябре 1983-го пытались угнать самолет из Тбилиси в Турцию, и ее состояние тогда было вызвано известием о расстреле брата / любовника). Дидим спал в гостиной с Глазуньей.

Но я ничего этого не знал тогда, поскольку всю ночь не выходил из материнской, не выпуская из объятий божественное тело Шаши.

Она сказала, что никогда не испытывала ничего подобного, хотя живет с Дидимом два года. Она сказала, что стала его любовницей, потому что он принял ее – целиком, с ее левой рукой: в одиннадцать лет Шаша получила страшный ожог от запястья до локтя, когда шуровала кочергой в печке, и стала отверженной, несортовой женщиной, никому не нужной уродкой, легкой добычей. Она сказала, что с Дидимом она стала другой: выучила английский, французский и итальянский, прочла Данте, Ницше и Достоевского от корки до корки, научилась пользоваться ножом и салфетками. Она сказала, что у Дидима перед ней – никаких обязательств, у нее перед ним – тоже. Она сказала, что он изменяет ей напропалую, никогда не считаясь с нею; таков существующий порядок вещей. Она сказала, что не ревнует его, а он не ревнует ее, потому что легкая добыча не нужна никому. Она

сказала, что когда-нибудь будет принадлежать мне *всецело*, мне и больше никому, – но не сейчас. Она сказала, что мы среди этих людей – инородные тела, дети Марфы, и уже одно это нас объединяет. Она может на меня положиться, да. И если случится страшное, она позвонит мне и скажет: «Le presbytère n'a rien perdu de son charme», а я либо отвечу: «Ni le jardin de son éclat», либо не отвечу.

Она стала моей первой женщиной.

Она стала первой и последней женщиной, которой я сказал, что люблю ее.

А имя убийцы Шуретты так и осталось тайной.

В следующую субботу мать взяла меня с собой в Правую Жизнь.

Нетерпение мое было так велико, что дважды за неделю у меня от волнения текла кровь из носа.

Книги не отвлекали. Читая «Войну и мир», я танцевал с Наташей Ростовой, положив ладонь на ее нервную спину, а потом лежал на поле Аустерлица и слышал, как Шаша говорит голосом Наполеона: «Voilà une belle mort»⁶, а потом Шаша поворачивала лошадь, чтобы ехать по своим делам, а у меня не хватало сил, чтобы крикнуть, остановить ее...

Однако, как пишут классики, действительность превзошла мои ожидания.

Ужинали вшестером – кроме нас были Дидим, Шаша, Па-

⁶ Вот славная смерть. (фр.)

па Шкура и Глазунья, оказавшаяся матерью Шаши. Посиделки были посвящены отъезду Шкуратовых в Прагу, где старший получил важный пост в международном журнале «Проблемы мира и социализма». Шаша ехала с ними.

Тогда я, конечно, не мог знать, каких трудов Папе Шкуре и Дидиму стоила поездка пятнадцатилетней Шаши, которая не была членом семьи, и на какие ухищрения пускались друзья Шкуратова-старшего, чтобы в ЦК, КГБ и МИДе закрыли на это глаза.

Мы опоздали к началу ужина, поэтому было непонятно, почему Дидим с Шашей затеяли разговор об «Амфитрионе» Клейста.

– По прихоти Юпитера, – лениво говорил Дидим, поглядывая то на меня, то на Шашу, – на сердце любящей Алкмены претендуют два ее мужа, два Амфитриона сразу, причем один из них – многоликий шутник Юпитер-Зевс, принявший облик мужа Алкмены. Одураченная богом женщина изменяет настоящему мужу, однако, узнав об этом, вовсе не чувствует себя осчастливленной соитием с самим громовержцем. А тот охладевает к игре, потому что всё оказалось серьезнее, чем шутник предполагал: он влюбляется в земную женщину. Она же готова его лишь почитать, но любить – только мужа. Когда всё тайное в пьесе становится явным, а отношения героев – проясненными, Амфитрион зовет жену: «Алкмена!». Та отвечает: «Ах!». Занавес. Рильке назвал эту финальную реплику «одним из трогательнейших и чистей-

ших мест во всей литературе». Но попробуйте произнести вслух это «Ах!» – и становится понятно, что это всего-навсего гениальная визуальная находка. Клейст не услышал ее, а увидел. Своей пустотой, даже абсурдностью она одинаково устраивает и Амфитриона, и Юпитера, и зрителей, потому что может означать – что угодно. Она ничего не меняет в пьесе, ничего же не убавляя и не прибавляя к образу Алкмены, оставаясь при этом, однако, верхом драматического остроумия... – Он повернулся к Шаше. – Что скажешь, остроумная наша?

– Ах, – сказала Шаша.

– Люди меняются, – сказала Глазунья, – даже дураки меняются...

– Меняются, – сказал Папа Шкура. – Всё меняется, черт возьми, и чтоб это понять, необязательно быть человеком, который чует кровь в воде...

– Кровь? – Глазунья покачала головой. – Бр-р...

– Любопытно, – продолжал старший Шкуратов, – что Гуссерль в своих «Логических исследованиях» упрямо сводил любые разговоры о психологическом происхождении чисел или основных понятий к универсальному, как ему казалось, примеру: понятие «красный» обладает непреходящим значением вне зависимости от эпохи, страны и того, кто о нем говорит. Но вспомните-ка реплику леди Макбет, когда она излагает свой план убийства Дункана: чтобы отвести подозрения от мужа, она предлагает выпачкать кровью лица слуг,

охраняющих спальню короля. При этом она говорит не «выпачкать», а «вызолотить кровью»: «I'll gild the faces of the grooms»⁷ и так далее. И это не только в «Макбете» – в других пьесах тоже. А потом у Шекспира кровь вдруг становится красной. Что-то изменилось... смена эпох изменила зрение... Ночь всегда была черной и уродливой, пока романтики не покрасили ее в привлекательный синий и называли тысячеокой. Сто лет назад в Британском музее попытались отшлифовать греческие статуи, чтобы вернуть им первоначальный цвет: многие тогда считали таким цветом белый – именно он, как казалось девятнадцатому веку, лучше всего соответствовал греческой простоте, красоте, совершенству. Всё придумано, и мы живем в придуманном мире...

– Попахивает шизофренией, – сказал Дидим.

– Нет, – сказала Елизавета Андреевна, – попахивает людьми.

Все засмеялись.

Мне постелили в материнской. Всю ночь я ждал, что Шаша вспомнит обо мне, хотя точно знал, что она в постели с Дидимом. Чтобы невзначай не уснуть, я перебирал в памяти новые слова и имена, которые надо было найти в словарях: Авель, Фома Неверующий, эффигия, волсви, Ратенау, Шлецер, Михайловский, Клейст, Гуссерль, дети Марфы. Коли уж я стал официально частью Шкуратовых, я должен был понимать их речи, даже если они и вызывали у меня сложные

⁷ Я вызолочу кровью лица слуг. (англ.)

чувства – смесь восхищения с отторжением.

А еще я решил прочесть «Макбета» и выучить французский, чтобы *соответствовать* Шаше.

Шаша так и не пришла.

Это была самая ужасная ночь в моей жизни.

Вернувшись следующим утром в Москву, я позвонил Монике Каплан, через полчаса мы встретились у нее, через час я овладел ею, переступив через всё ее «не сейчас».

Прижавшись всем телом ко мне, Моника пробормотала:

– Ты стал другим...

– *Voilà une belle mort*, – сказал я.

Любовники из Будапешта

2019

Два года назад я полетел в Будапешт по делам: мне предстояло свидетельствовать завещание нашего клиента, а заодно передать рукописи Аготе Штиль, дочери старинного друга Папы Шкуры, известного в прошлом венгерского диссидента.

Папка с рукописями Штиля-старшего хранилась у Шкуратовых, после смерти Бориса Виссарионовича на нее не обратили внимания, наконец у Дидима и юристов дошли руки и до нее.

Наша юридическая фирма «Шехтель и Дейч» – одна из богатейших в Москве, но у нас не любили, когда сотрудники злоупотребляют роскошью, поэтому поселился я в отеле на острове Маргит. Поездка из аэропорта до острова стоила меньше двух тысяч форинтов – дешевле бутылки заурядного «бока». Утром следующего дня я выполнил поручение фирмы – оставалось подписать бумаги, вечером передал рукопись старушке Аготе, которая жила в Обуде, у моста Арпада. Там же, в Обуде, поужинал в «Чарде» – и понял, что не прочь провести несколько дней в этом городе, полном теп-

лого вампирского обаяния.

Может быть, я не почувствовал Вену, может, не там и не с теми бывал, не так и не туда смотрел, – но мне кажется, что не Вена, а именно Будапешт воплотил и сохранил дух великой империи. Впрочем, в провинции – в Эстергоме, Шопроне, Сомбатхее – этот дух еще сильнее...

На следующий день, когда я допивал кофе за завтраком, позвонили из фирмы: мне нужно было встретить московский самолет, с которым передали последние бумаги, чтобы закрыть дело о завещании.

Я сел в такси на площади Фё, вскоре машина выехала на окружную дорогу и помчалась к аэропорту имени Листа Ференца. Меня забавляла речевая манера венгров, которые ставили фамилию на первое место и только потом называли имя, как в советских казенных бумагах. Таксиста звали Имре, он считал, что знает русский, и пытался вести светскую беседу: «Как поживает господин Путин, *Isten óvja őt?*⁸» «*Hála Istennek*⁹, Имре, вашими молитвами».

Получив от стюардессы пакет с бумагами, я двинулся к выходу и... чуть не сбил с ног Шашу. Она обрадовалась, схватила меня за руку и подвела к полицейским, у ног которых лежала на боку обоссавшаяся Алена.

– Договорились встретиться в этом чертовом городе, она прилетела – и как видишь. Из самолета вышла на своих дво-

⁸ Да хранит его бог. (венг.)

⁹ Вашими молитвами. (венг.)

их, а тут рухнула. Извини, я тоже очень рада тебе, но надо же что-то делать с этой сукой...

К нашему счастью, один из полицейских сносно владел английским и близко к сердцу принял беду моей «несчастной жены, страдающей тяжелым алкоголизмом».

Пока Шаша сторожила бесчувственное тело, я сбегал в магазин, купил несколько больших полотенец и влажных салфеток, бутылку виски, бутылку воды и бутерброды, снял в банкомате евро, сунул полтинник таксисту, он застелил сиденье полотенцами, а потом еще за двадцатку помог поднять Алену на третий этаж моего отеля (Шаша забронировала номера в роскошной гостинице на набережной Дуная, но не отважилась везти туда невменяемую Алену).

В коридоре нас остановил рослый плечистый мужчина в халате и с вытатуированной вокруг шеи надписью «Cut Line» – тридцать пять лет назад, когда мы встречали Рождество у Шкуратовых, этой татуировки у него не было.

– Юрий Григорьевич, – сказал я, – Юг, comment ça va?¹⁰ Боже, да вы сговорились, что ли! Третий рояль в кустах за один вечер! Ты здесь что?

– Дела, – сказал он. – Давайте-ка...

Подхватил Алену на руки и ногой открыл дверь своего номера.

Мы занесли в его номер сумки Алены и попрощались до утра.

¹⁰ Как дела? (фр.)

– Тебя отвезти в отель? – спросил я на всякий случай.

Вместо ответа Шаша поцеловала меня в губы.

– Сколько раз мы с тобой спали вместе? – спросила она. –

Ты же считаешь, я знаю...

– Одиннадцать.

– Двенадцать – что-то ведь значит? Двенадцать апостолов...

– Двенадцать врат Небесного Иерусалима, двенадцать колен Израилевых, двенадцать рыцарей Круглого стола, двенадцать фракийцев, убитых Диомедом...

– Значит, двенадцать – символ преодоления хаоса, символ космоса и спасения?

В прихожей мы снова поцеловались.

– Надо выпить, – сказала Шаша. – Что-то происходит, а что – не пойму...

Мы вышли на балкон, устроились за столиком со стеклянной столешницей, выпили, закурили.

Отсюда были видны освещенные окна отеля «Аквинкум», фонари вдоль железной дороги, отражающиеся в лоснящемся черном Дунае. По мосту Арпада с протяжным шелестом проносились редкие машины.

– Le presbytère n'a rien perdu de son charme, – прошептала Шаша, не сводя взгляда со светящегося золотого креста церкви Петра и Павла, стоявшей на другом берегу Дуная, между мостом и «Аквинкумом», – ni le jardin de son éclat...

В ресторане за завтраком Алена первым делом сообщила, что Юг сначала вымыл ее под душем с мылом, а потом постирал ее трусы, джинсы и колготки.

– А утром сказал: «Viens à moi»¹¹, и у меня был такой секс, какого давным-давно не было. Но на каком французском он говорит, божечки мой боже!

– Выучил в Африке, – сказал Юг с невозмутимым видом. – Там пишут *diable*, а произносят «джап». Дьявол у них – джап. Одна женщина сказала мне: «Дже ву тва дан ля реф, ту этэ джап».

– То есть – *je t'ai vu dans mes rêves*, – сказала Шаша, – *tu étais le diable*?¹²

Юг кивнул.

– Был. Был дьяволом.

– А что ты делал в Африке? – спросил я. – И каким дьяволом ты там работал? *Légion étrangère*?¹³

– Вроде того, но нет. Служил.

– И это оттуда? – Шаша коснулась своей шеи в том месте, где у Юга была татуировка.

– Голова, отрубленная по третьему позвонку, обычно весит не более десяти фунтов. Но это избыточное знание, не имеющее сегодня никакой ценности...

– К счастью? – спросила Алена.

¹¹ Иди ко мне. (*фр.*)

¹² Я видела тебя в своих снах; ты был дьяволом. (*фр.*)

¹³ Иностраннный легион. (*фр.*)

– Надеюсь.

– Юг, – сказала Алена, – ты знаешь какой-нибудь магазин, где можно купить куртку или пальто?

– Это, конечно, не Москва, но у Восточного вокзала неплохой торговый центр... а лучше на проспект Андрaши – это и ближе, в двух шагах от святого Стефана, и магазины там приличные... потом можем пообедать в «Калласе» возле Оперы – или в каком-нибудь ресторанчике у базилики...

– Приказывай, о мужчина, постиравший мои трусы!

– Иногда лучше держать свой юмор во аде, а не на кончике языка.

– Да ты совсем не прост, *mon cher colonel!*¹⁴

Они ушли, держась за руки.

– А мы? – спросила Шаша. – Куда мы отправимся, держась за руки?

– Сегодня я проснулся и долго не решался открыть глаза – боялся, что тебя нет рядом, исчезла, растаяла, как всегда, как одиннадцать раз до того...

– Не бойся, – сказала Шаша, – больше не надо бояться. Двенадцать – число спасения.

Мы прогулялись под мелким дождем до моста Маргит, сели в трамвай и покатали по улице Балашши в сторону парламента. И когда трамвай, обогнув здание парламента, вышел на набережную Сечени, из-под серого полога облаков, нависавших над Будайской крепостью, ударило солнце. На

¹⁴ Мой дорогой полковник. (*фр.*)

Центральном рынке мы выпили палинки, съели по бутерброду. В «Маленьком Мельбурне» выпили кофе. По улице Ва-
ци, отмахиваясь от продавцов сувениров, дошли до площа-
ди Вёрёшмарти, но Шаше не захотелось в «Жербо»: «На се-
годня свою норму кофе я исчерпала». На площади Эржебет
устроились на скамейке, чтобы глотнуть из фляжки и поку-
рить. Обошли кругом базилику святого Стефана, но внутрь
заходить не стали. На площади Свободы у бронзового Рейга-
на, который шагал в сторону памятника павшим советским
солдатам, посидели на лавочке рука в руку, по-стариковски.
По улице Вечеи вышли к парламенту, через мост Маргит до-
ехали на такси до Будайской крепости, в кафе с видом на
президентский дворец заказали мороженое.

– Сто лет не видел Алену, – сказал я.

– Так она сто лет живет то в Италии, то в каком-нибудь
индийском ашраме, – сказала Шаша. – В Москве бывает ред-
ко, наездами.

– Болеет?

– Не в общепринятом смысле.

– И эта шапочка, с которой она не расстается...

– Просверлила себе череп, чтобы установить прямую
связь с космосом. Впрочем, иногда звонит...

– Мне тоже раза два звонила по ночам...

– Вредные гейтрогены и полезное кьянти?

– Бароло. А еще – шестнадцатилетний любовник... По со-
вету диетолога ест и пьет голышом перед зеркалом, чтоб бы-

ло стыдно, но стыда как не было, так и нет...

Шаша вздохнула.

Яркая, манкая, умная, впервые Алена вышла замуж, когда ей еще не было и семнадцати. Потом было еще несколько мужей, множество мимолетных мальчиков и девочек, диссертация о русском барокко, книга об Иване Адольском, работа в крупном аукционном доме, проблемы с наркотиками, неудачные беременности, гормональные проблемы.

Объездила весь мир, пока не перебралась в Италию, в Сан-Джиминьяно. Мужчины, женщины, вино, отели, отели, отели. Стала вдруг спасительницей подруг-эмигранток, которые, не в силах выдержать одиночества, пытались покончить с собой. Мчалась по первому звонку в Амстердам, Париж, Прагу или Нюрнберг, чтобы утешить отчаявшихся, а иных и вытащить из петли. А потом возвращалась в Тоскану, бродила по музеям, вечером в ресторане знакомилась с каким-нибудь мальчиком или девочкой, чтобы не коротать ночь в одиночестве. Но теперь ей приходилось платить за чужое тело.

«Я всё чаще вспоминаю того человека из “Мертвого дома”, который содержался не в остроге, а во внутренней тюрьме острога, – сказала она как-то мне. – За какое-то жуткое преступление его приковали к стене цепью, и сидеть ему на цепи предстояло лет пять или даже десять. Через десять лет цепь с него должны были снять и выпустить в острог, откуда он не мог выйти до самой смерти. Этот человек с упоением

мечтал о том дне, когда его выпустят из одной тюрьмы в другую, из тюрьмы страшной в тюрьму чуть менее страшную, и, если б не эта мечта, он, наверное, не выдержал бы, сошел с ума. Это, конечно, про всех нас, но среди этих всех я – первая. Все мои мечты сбылись, и это самое ужасное. Самое-самое. Только теперь я понимаю: если хочешь пожелать злейшему врагу злейшего зла, пожелай ему сбычи мечт. Чтоб у него всё сбылось, как у меня. Сейчас у меня осталось только *Il passato maledetto*¹⁵...»

И цитировала Бродского:

...и разница между зеркалом, в которое вы глядитесь, и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

Она ненавидела всех, кому причинила зло: «Когда-то меня все называли талантливой, считая, что это высшее счастье. Но для настоящего счастья талант вовсе не нужен, талант – это счастье обслуживающего персонала. Боги бесталанны, но счастливы и могущественны. А мы всё просим прощения то за то, то за это... Наш школьный учитель литературы как-то сказал, что генеральная линия русской культуры вполне исчерпывается фразой “Пошел просить прощения и убил”. Вот поэтому я и не прошу прощения».

Поздно вечером мы вернулись в отель на острове.

Перед тем как лечь в постель, Шаша вдруг прижалась к

¹⁵ Проклятое прошлое. (*итал.*)

моей спине и сказала:

– Больше я не исчезну...

Алена и Юг жили своей жизнью – мы не встречались ни в отеле, ни в ресторане, ни на прогулках по острову.

Мы с Шашей гуляли, катались на велосипедах, бродили вдоль Дуная, а замерзнув, пили глинтвейн в какой-нибудь забегаловке. На набережной перед отелем «Кемпински» любовались работой Ботонда Полгара, который отважно перевел живописное «Тондо» Микеланджело на язык скульптуры.

Как-то вечером в дверь постучали. Это был Юг.

– Алена погибла, – сказал он без выражения. – Убита насмерть.

– Входи.

В старину в русском языке слова «убит» и «избит» были синонимами, поэтому, если речь шла об убийстве, к слову «убит» добавлялось «насмерть», «до смерти». Понятно, что я не стал донимать Юга этими филологическими рассудизмами.

– Где Шаша?

– В ванной.

Мы сели на балконе, Юг выставил на столик огромную бутылку виски.

Выпили.

Я ждал.

– Стреляли в меня – попали в нее, – наконец проговорил он. – Дело было в Еврейском квартале, за нами топали, но я не сразу это понял, а когда сообразил, было уже поздно... – Помолчал. – У меня здесь дела, понимаешь... в общем, это мои дела, не ее, и стреляли в меня, а попали в нее, первая пуля в витрину, остальные в нее, пять пуль в нее, а меня даже не царапнуло...

– Юг, ты можешь ответить на один неприятный вопрос?

– Да, – сказал он, – я бандит. Ну или как хочешь называй, но в сухом остатке – бандит. И дела у меня здесь были бандитские. Понимаешь? – Выпил, снова закурил. – Ты не понимаешь, Шрамм, что такое Герой Советского Союза. И никогда не поймешь. Сейчас над этим смеются, а мне не до смеха. Потому что Героя давали не просто так. Я еле выжил, я спас роту и еле выжил. Семь пулевых, четыре осколочных и контузия, но я спас восемьдесят девять человек и выжил. Восемьдесят девять. Там и тогда я не думал, что мне дадут, Героя или что. Могли бы дать и «За отвагу», почему нет? Не думал об этом. Там и тогда я был офицером, который... который был офицером... ну и дали Героя... – Помолчал, давая окурки в пепельнице. – Герой – когда ты становишься лучшим из лучших. Самым красивым, самым высоким, самым белокурый и голубоглазым, самым сильным и самым добрым. Ты не можешь быть сволочью, мразью, подонком, как бы ни поворачивалась жизнь. Не имеешь права. Ты выше всех – выше всех, Шрамм! Образец, идол, идеал. Идеал.

Дальше всех кидаешь мяч, лучше всех ебешь бабу, одним хлебом утоляешь голод сорока тысяч бродяг. Не смей смеяться!

– Я не смеюсь, Юг, – тихо сказал я, разливая виски по стаканам. – Кто я такой, чтобы смеяться над тобой...

– Я таким не был, но должен был таким быть. *Le meilleur des meilleurs.*¹⁶ А я убил женщину...

– Но ты не виноват, Юг...

– Другую женщину, Шрамм. – Он смотрел на меня страшно. – В Африке. Она ни в чем не виновата была – ее просто захватили и привели в лагерь. Мы там сидели в яме – трое французов, итальянец, один местный и я. Нам не повезло. Охранники на нас ссали сверху и смеялись. Раз в день бросали в яму две-три связки бананов, бутылку воды. Или две. Однажды у них что-то случилось, ни еды, ни воды не было неделю... потом еще несколько дней... без еды и воды – на жару трудно это, голова сначала перестает слушаться, а потом начинает отдавать приказы, да такие, что... В общем, почти две недели без еды... А потом они столкнули в яму эту женщину и сказали, что мы можем делать с ней что угодно, но лучше всего ее съесть, потому что в ближайшие дни другой еды не будет. Ее звали Фам. Может, это от *femme*, не знаю. Что угодно мы не стали делать... Кинули на пальцах – выпало мне. Я ее задушил...

Он замолчал.

¹⁶ Лучшие из лучших. (*фр.*)

Краем глаза я заметил Шашу – она стояла в дверном проеме, сунув руки в карманы халата, и не сводила взгляда с Савы.

– Ночью, набравшись сил, мы смогли выбраться из ямы. Я разломал бутылку из-под воды, по плечам товарищей выкарабкался из ямы и куском пластика зарезал спящего охранника, остальных расстрелял из его автомата. Нам повезло: их там было меньше десяти человек. Прежде чем уйти, мы закопали яму. Взорвали гранатами края – земля обрушилась внутрь. Так похоронили Фам. Через два дня нас заметил патрульный вертолет, и французы нас спасли. Потом я вернулся сюда. – Он снова выпил. – Я перестал быть героем, Шрамм. Я им был, это да, но после Фам перестал быть. Ну а потом... это был девяносто четвертый год, мужики вроде меня всегда найдут дело, я и нашел. Когда встретил Алену, мне показалось, что я... нет, героем я больше быть не мог, но человеком... появилась надежда... надежда на надежду... и вот – тоже нет, просто человеком – нет... Алены нет, а моя жизнь – *tout comme toujours*¹⁷, вот так, прощай, Шрамм, и ты, Шаша, прощай...

Он вышел, тихо притворив за собой дверь.

Мы переглянулись, оделись, вышли из отеля, поднялись на мост Арпада и двинулись куда глаза глядят. Обошли, наверное, весь Будапешт, к рассвету вышли на набережную Бельград в районе площади Фёвам, остановились, и вдруг

¹⁷ Всё как всегда. (*фр.*)

Шаша сорвалась с места и запрыгала на одной ножке вдоль цепочки тускнеющих фонарей, прыг, прыг, прыг, и я бросился за нею, догнал, схватил, обнял, но сил осталось только на одно слово: «Всегда... всегда... всегда...»

По возвращении в Москву Шаша даже не заглянула в свою квартиру – сразу поехала ко мне.

А в сентябре прошлого года врач сказал, что она беременна, и мы решили оставить ребенка.

Ботинки для сумасшедшего

2020

Обрадованный рождением Сына, Бог открывает врата адавы, освобождая всю нечисть, которая в рождественскую ночь заполняет мир. Эта нечисть бежит по скрипучим лестницам, стонет половицами, хлопает ставнями на окнах первого этажа и воет в печной трубе, которую старик Аксенов излевой Жизни чистил в самом начале осени и весной.

В перестроенном доме бесы вели себя тихо, потому что печи разобрали, ставни выбросили, а взамен узкой и шаткой лестницы сделали новую – теперь она опиралась на мощные дубовые колонны, толстенные же широкие ступени были так подогнаны, что не издавали никаких случайных звуков.

Мне было жаль старой лестницы, которая откликалась басовитым скрипом на шаги Папы Шкуры, торопливо попискивала под легкой Аленой, бегавшей на цыпочках, отрывисто вскрикивала под стремительным Дидимом и кряхтела вразнобой, когда по ней поднималась Марго. Под этой лестницей мы целовались с Шашей, когда она вернулась из Праги и первым делом позвонила мне, и я всё бросил и помчался в Правую Жизнь...

Было темно, когда я спустился в кухню, чтобы выпить первую чашку кофе и выкурить первую сигарету. Кофемашина негромко заурчала, наполняя чашку двойным эспрессо. Я сел поближе к маленькому настенному светильнику, сделал глоток и затянулся свежим никотином.

В старой кухне уголок у окна назывался corner-talk, вечерами здесь было хорошо болтать вдвоем под чашку чая или бокал вина. В этом уголке и состоялся однажды разговор, к которому так долго готовился Папа Шкура, наконец собравшийся поговорить со мной «по душам». Не знаю, о чем он разговаривал там с Югом, а вот со мной – о ботинках.

Мы сидели друг против друга – я с чашкой кофе, он со стаканом коньяка, я слушал, он говорил о ботинках.

Эти ботинки английской ручной работы купил в Петербурге один из предков Шкуратовых. Это было давно, очень давно. Он был каким-то мастеровым – то ли переплетчиком, то ли еще кем.

Однажды его послали в дорогой магазин за какой-то надобностью. На стенах здесь висели контуры стоп знаменитых заказчиков – портреты их ног. Снимая мерку, мастер спрашивал заказчика о жизни и детях, о болезнях ног и ушибах, подагре и мозолях, и иногда казалось, что мастер спрашивает ноги, а не их хозяина. Затем босая ступня заказчика ставилась на лист белой бумаги, обводилась карандашом, и начиналось изготовление колодки: для англичан колодка важнее всего остального в обуви. Зауженные, слегка

округлые носы, невысокие устойчивые каблуки, красиво отстроченные союзки, задники и берцы...

Здесь он и увидел эти ботинки, служившие образцом. Ему позволили взять их в руки – и он *почувствовал* их. Ощутил тепло, этот запах... Это были настоящие английские ботинки с верхом из оленьей кожи немецкой выделки и прокладкой из козьей кожи выделки французской, изготовленные из восьми кусков, с каблуком из двух десятков деталей и с полумиллиметровым стежком шва.

Всех его денег едва ли хватило бы на один каблук, но хозяин был не только богатым человеком и хорошим мастером – он верил в то, что и бедные души бессмертны и могут спастись. Он подарил эту пару молодому подмастерью. Ботинки уложили в кожаную коробку с клапаном и перевязали бечевкой.

Предок Шкуратова вернулся домой, в провинцию, и показал жене эти ботинки. Жена хотя и ждала подарка, но не обиделась и даже заплакала: ничего красивее, надежнее, солиднее она еще в своей жизни не видала, даже в церкви.

Родственники и соседи несколько дней приходили в гости с одной целью – посмотреть на ботинки. Это превратилось в ритуал: заводили самовар,ставляли на стол какое-нибудь угощение – ну, варенье домашнее или даже водочку. Развязывали бечевку, открывали коробку, снимали мягкую оберточную бумагу и брали в руки ботинки. Передавали из рук в руки. По-разному смотрели – кто с восхищением, кто с зави-

стью, а кто-то вдруг вставал и уходил, не сказав ни слова, и, может быть, долго потом не мог уснуть в одиночестве, куря папиросы и тупо следя за бестолковой и безобразной ночной бабочкой, бившейся в ламповое стекло...

Разумеется, хозяин примерял ботинки и даже делал шаг-другой или даже другой-третий – надо же было показать, как они сидят на ноге, что такое нога в таких ботинках... Но потом он заворачивал ботинки в бумажку, прятал в коробку, и разговор заходил о чем-нибудь другом, хотя в комнате еще долго витал запах здоровой зрелой кожи, настоящей жизни, чего-то такого доброго, хорошего, может, даже праздничного... У нас таких не сделают, говорил кто-нибудь. Ему возражали. Люди, наверное, спорили, но вскоре уставали, и спор сам собой угасал. Слова – словами, а вот она – вещь в коробке.

Хозяин так никогда и не надел эти ботинки. Ну, чтобы выйти куда-нибудь, хотя бы, например, в церковь. Носил свои сапоги или там штиблеты – а ботинки хранил для какого-то особенного случая. Какого – Бог весть. Так случай и не вышел, а перед смертью человек этот запретил его хоронить в этих ботинках и завещал их сыну.

Сын выучился на медные гроши, стал мелким чиновником, и вот однажды в голову ему взбрело: а почему бы вдруг да и не явиться в канцелярию – в этих башмаках? Надел – прищлись впору. Повертелся перед зеркалом – чудо чудное. Подумал о невесте, о том, как она будет одета в церкви на

венчании и как всё будет потом, когда жизнь войдет в обычную колею. Подумал о столоначальнике, у которого – он ведь знал – никогда таких ботинок не было, и вот он, юный чиновник, выучившийся на медные деньги, вдруг заявится на службу в таких башмаках... Спрятал ботинки в коробку, выпил рюмку смородиновой и завалился спать.

Чиновники, военные, инженеры – они сносили сотни пар неудобной обуви, чтобы никогда не надевать эти ботинки. Они готовы были терпеть любые неудобства – мозоли, искривление пальцев, усталость в ногах, всё терпели, точно зная, что вон там, в шкафчике, в кожаной пахучей коробке, существует спасение ото всех этих мелких несчастий, а может быть, и не только от мелких, то есть не только спасение от мозолей, но и вообще – счастье, смысл жизни, решительность, порыв, революция, способность изменить жизнь и зажить иначе, какой-нибудь другой, настоящей жизнью... Ботинки! Это была мечта. Это был некий рай – стоило решиться и руку протянуть, – но в том-то, наверное, и русское счастье, чтобы отказать себе в нем и руку не протягивать.

Папа Шкура был хорошим рассказчиком: умел держать паузы, в нужных местах играть интонацией, в патетических местах – говорить небрежно, чуть ли не зевая, чтобы снизить пафос истории.

– А потом? – спросил я. – Или эта история – без нраво-учительного финала?

Мне было тогда семнадцать, и я был немножко ёрой и ни-

гилистом, чувствуя себя слегка Шкуратовым.

– Финал есть, – сказал Папа Шкура, – но этот финал – скорее вопрос, чем ответ. Один из хозяев вдруг взял да отдал эти ботинки сумасшедшему соседу, который голышом бегал наперегонки с собаками и ел дождевых червей. Может, его тяготил сам факт владения сокровищем, которым никто не пользуется, может, размер не подошел, может, как говорится, хотел раз и навсегда закрыть тему, – кто знает... – Он широко улыбнулся. – Понятно, что через неделю ботинки было не узнать – сумасшедший разбил их в прах, в лохмотья, вдрызг, вдрабадан, уничтожил вещь, которую и оценить-то не мог...

– А вопрос в чем?

– Может, не стоило их отдавать сумасшедшему? Может, надо было самому их – в ключья?

– Если размер не подошел, может, взять да продать?

– Может. А может, и нет. В общем, Политбюро ЦК КПСС до сих пор не может ответить ни на один из этих вопросов, и это, мой дорогой, плохо... Кстати, знаешь ли ты, что если вожак птичьей стаи выбирает неправильное направление полета, стая перестает его слушаться?

Я фыркнул.

– Елизавета Андреевна сказала мне, что ты собрался в армию...

– Если призовут, пойду.

– И не жалко двух лет жизни? Ты хорошо учишься, непло-

хоть владеешь английским и бодро осваиваешь французский, – так, может, лучше в университет?

– Не знаю. Посмотрим.

Он вздохнул, но продолжать разговор не стал.

Наверху что-то зашумело.

Похоже, Шаша проснулась и принимала душ.

Я включил ноутбук, с которым в последние годы не расставался.

Пробежав глазами полтора десятка деловых писем, среди них я увидел неожиданное – от Арсена Жуковского.

Вот уж кто ни минуты не колебался бы, надевать те самые ботинки или нет, так это Жуковский. В конце девяностых этот парень из глухой костромской деревни, окончивший провинциальный пединститут, приехал в Москву за деньгами и славой – и быстро стал звездой скандальной журналистики. В последние годы он взялся за биографии «героев ельцинской эпохи» – три его книги разошлись огромным тиражом, чему способствовали и судебные иски героев к автору. На него дважды покушались, и из этого он тоже извлек немалую выгоду. Работал Арсен обстоятельно, тщательно проверял факты и неплохо писал. Ему было плевать на любые убеждения – его целью был хайп, приносящий деньги, деньги и снова деньги. Недоброжелатели говорили, что Арсен – типично русское явление в его стремлении не возвысить низших, а унижить высших. Друзья же называли

его «гонфалоньером свободы слова».

Особенность его метода заключалась в том, что сбор материала для новой книги он начинал с объявления охоты – публиковал в сети призыв «ко всем равнодушным людям» поделиться информацией о герое будущей книги, его семье и друзьях. Поскольку речь шла об известных фигурах, Арсен получал тысячи писем, которые сортировались его помощниками. Самую интересную информацию те же помощники тщательно проверяли. Большая часть присланного сводилась к пересказу анекдотов, слухов и сплетен, но иногда откликались и люди, располагавшие ценными сведениями.

В позапрошлом году, когда мы с Шашей вернулись из Будапешта, Жуковский объявил охоту на Дидима, но книга пока не появилась.

Уважаемый Илья Борисович, как вы знаете, два года назад мы объявили о начале работы над книгой о семье Шкуратовых, точнее, об отце и сыне Шкуратовых. Борис Виссарионович был звездой перестройки, Виссарион Борисович – звездой ельцинской эпохи. Нам удалось собрать довольно богатый материал об отце и сыне, а также об их окружении – ближнем и дальнем. Но при этом возникло множество белых пятен, лакун, которые мы пока не в силах заполнить.

В конце прошлого года я встречался с Виссарионом, рассказал ему о некоторых результатах наших изысканий (в частности, о его бабушке Маргарите и ее подруге Юлии-

Джюзьетте Минаковой-Минелли), попросил о помощи; поначалу он был не против, как мне показалось, но в какой-то момент вдруг замкнулся и перестал выходить на связь. Публиковать же сырой материал, даже если он носит выигривно скандальный характер, — не в наших правилах: речь идет о книге, а не о желтогазетной сенсации.

Обращаюсь к вам не только как к его брату, но потому, что именно вы — скорее всего, невольно, — побудили меня к размышлениям, из которых и вырос замысел этой книги. В этом замысле отец — подворовывает, а ворует — его сын, Виссарион Шкуратов.

Года три назад мы с вами встретились у Конрада Арто, и разговор наш неожиданно коснулся Шкуратовых. Когда речь зашла о Виссарионе, вы сказали, что главным героем нашего времени стал не Гамлет, а именно Гильденстерн, потому что ему противна мысль Гамлета «Весь мир — тюрьма». И еще вы сказали про Виссариона (хотя опять речь шла о Гильденстерне) что-то вроде: «Человек с холодным сердцем способен на невообразимое зло, если кто-нибудь покусится на его святыни». Потом я перечитал «Гамлета» — и много думал об этой паре: о Гамлете, распадающемся герое, и Гильденстерне, восходящем герое обывателя. И естественным образом перешел к Шкуратовым, отцу и его сыну, в роли которых выступают Гамлет и Гильденстерн, и окончательно запутался.

Постепенно замысел книги наполнился живой кровью,

тайной и спортивной злостью. Думаю, нам обоим небезразлична репутация этой семьи, которая может остаться незабываемой, только если она целостна, без дыр и двусмысленностей. Именно поэтому я и прошу вас о личной встрече в любое удобное для вас время. Настоятельно прошу, Илья Борисович.

Арсен

– Чего это ты так скривился? – Шаша бесшумно вошла на кухню и села напротив.

– Ты знаешь Арсена Жуковского?

– Наслышана.

Я прочитал ей письмо Арсена вслух.

– А почему бы и нет? Более того, пригласи-ка его сюда...

– А Дидим? Он ведь из тех, о ком говорят, что в одиночестве человек не так одинок.

– Уже нет. Кажется, он не с собой – и вообще не с нами.

– Всё так серьезно?

– Может, я ошибаюсь, но мне кажется – да. Что-то случилось...

– А врача?

– Сначала воспользуемся народными средствами. Нам тут действительно не помешает посторонний, а этот Жуковский – заинтересованный посторонний, что особенно ценно. Нам нужны чужие глаза, чужие уши – своих мозгов нам, думаю, хватит. Более того, мы сделаем это при Дидиме...

– Это?

– Заполним лакуны. Или хотя бы попытаемся. Дидим всё слышит и, думаю, всё понимает. Нам надо просто уловить миг, когда он будет готов, и крикнуть погромче – чтобы заика перестал заикаться. В результате не уверена, но попробовать стоит. Меня не интересуют тайны Шкуратовых – мне нужен говорящий Дидим. Нормальный Дидим. Жуковский уже довольно глубоко влез в семейные дела, при нем можно и нужно говорить о том, до чего он сам рано или поздно докопается, а он докопается. А врач... что врач? Новое лицо, чужак, и бог весть сколько времени уйдет, пока Дидим к нему привыкнет. И я не стала бы с врачом говорить о некоторых предметах...

– Но ведь признайся, ты уже разговаривала с врачом...

Она улыбнулась.

– Он сказал, что это может быть мутизм, то есть временная немота, вызванная шоком. Каким – не знаю. Если это мутизм, то ему введут кофеин и амобарбитал, и вскоре всё будет в порядке. Если не мутизм, сказал доктор, приготовьтесь к нелегкой работе. Логоневроз, шизофазия, деградация памяти и так далее.

– Значит, будем клин клином вышибать...

– Звони Арсену.

Я набрал номер Жуковского, тот ответил почти сразу:

– Да, Илья Борисович, слушаю.

– Доброе утро. Когда вы можете приехать, Арсен?

– Куда?

– Поселок Новая Жизнь. Знаете, где это?

– Конечно. Сейчас и приеду.

– Ждем.

Выключив телефон, я взглянул на Шашу.

– Не страшно?

Она мягко улыбнулась.

– Это как в шахматах: тронул – ходи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.